

Дмитрий Васильевич Григорович

**Из «Литературных
воспоминаний»**



Дмитрий Васильевич Григорович

Из «Литературных воспоминаний»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22119298

Аннотация

«Первый год в училище был для меня сплошным терзанием. Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полувека, не могу вспомнить о нем без тягостного чувства; и этому не столько способствовали строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружьистика, не столько даже трудность ученья в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, спать в одних комнатах. Представить трудно, чтобы в казенном, и притом военно-учебном, заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе. Начальство не могло этого не знать; надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы, заботясь, главным образом, о том, чтобы внешний вид был исправен и высшая власть осталась им довольна...»

Дмитрий Григорович

Из «Литературных воспоминаний»

Первый год в училище был для меня сплошным терзанием. Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полувека, не могу вспомнить о нем без тягостного чувства; и этому не столько способствовали строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружьистика, не столько даже трудность ученья в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, спать в одних комнатах. Представить трудно, чтобы в казенном, и притом военно-учебном, заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе. Начальство не могло этого не знать; надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы, заботясь, главным образом, о том, чтобы внешний вид был исправен и высшая власть осталась им довольна.

Комплект учащихся состоял из ста двадцати воспитанников, или кондукторов, как их называли, чтоб отличать от кадет. В мое время треть из них составляли поляки, треть — немцы из прибалтийских губерний, треть русские. В старших двух классах были кондукторы, давно брившие усы и

бороду; они держали себя большею частию особняком, присоединяясь к остальным в крайних только случаях. От тех, которые были моложе, новичкам положительно житья не было. С первого дня поступления новички получали прозвище рябцов слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов, как на парий, было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям.

Новичок стоит где-нибудь, не смея шевельнуться; к нему подходит старший и говорит задирающим голосом: «Вы, рябец, такой-сякой, начинаете, кажется, кутить?» – «Помилуйте... я ничего...» – «То-то, ничего... Смотрите вы у меня!» – и – затем щелчок в нос, или повернут за плечи и ни за что ни про что угостят пинком. Или: «Эй вы, рябец, как вас?.. Ступайте в третью камеру; подле моей койки лежит моя тетрадь, несите сюда, да, смотрите, живо, не то расправа!» Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды, налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив и маменькин сынок.

В классах, во время приготовления уроков, как только дежурный офицер удалялся, поперек двери из одного класса в другой ставился стол; новички должны были на четвереньках проходить под ним, между тем как с другой стороны их встречали кручеными жгутами и хлестали куда ни попало. И Боже упаси было заплакать или отбиваться от такого воз-

мутительного насилия. Сын доктора К., поступивший в одно время со мною, начал было отмахиваться кулаками; вокруг него собралась ватага, и так исколотили, что его пришлось снести в лазарет; к его счастью, его научили сказать, что он споткнулся на классной лестнице и ушибся. Пожалуйся он, расскажи, как было дело, он, конечно, дорого бы поплатился.

И все это происходило в казенном заведении, где над головой каждого висел дамоклов меч строгости, взыскательности самой придирчивой; где за самый невинный проступок – расстегнутый воротник или пуговицу – отправляли в карцер или ставили у дверей на часы с ранцем на спине и не позволяли опускать ружье на пол.

В одном из помещений училища находилась канцелярия, сообщавшаяся с квартирой ротного командира Фере; в канцелярии заседал письмоводитель из унтер-офицеров, по фамилии Игумнов. Зайдешь, бывало, в канцелярию узнать, нет ли письма, не приходил ли навестить родственник. Случайно в дверях показывался Фере; он мгновенно указывал пальцем на вошедшего и сонным голосом произносил: «Игумнов, записать его!» Игумнов исполнял приказание, и вошедший ни за что ни про что должен был отсидеть в училище праздничный день.

Безусловно, винить начальство за допущение своеволия между воспитанниками было бы несправедливо. Не надо забывать, что в то время оно находилось, более чем мы сами, под гнетом страха и ответственности; на шалости, происхо-

дившие у себя дома, в закрытии, смотрели снисходительно, лишь бы, как я уже заметил, в данный момент воспитанники были во всем исправны: не пропустили на улице офицера, не отдав ему чести, выходной билет был бы на месте между второй и третьей пуговицей, отличились бы на ординарцах или на разводе или молодцами прошли бы на майском параде. Надо сказать также, начальство ничего не знало о том, что происходило в рекреационной зале, – оно туда почему-то редко заглядывало. Там, между тем, помимо истязания рябцов, совершались другие предосудительные сцены; распевались песни непристойного характера, и в том числе знаменитая «Феня», кончавшаяся припевом:

Ах ты, Феня, Феня,
Феня ягода моя!..

Раз в год, накануне Рождества, в рекреационную залу входил письмоводитель Игумнов в туго застегнутом мундире, с задумчивым, наклоненным лицом. Он становился на самой середине залы, выжидал, пока обступят его воспитанники, кашлял в ладонь и, не смотря в глаза присутствующим, начинал глухим, монотонным голосом декламировать известное стихотворение Жуковского:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали... и т. д...

Покончив с декламацией, Игумнов отвешивал поклон и с тем же задумчивым видом медленно выходил из залы.

Всякий раз после этого собиралась подписка в пользу Игумнова; одному из старших поручалось отдать ему деньги.

Разноплеменность в составе персонала училища не давала себя чувствовать или, по крайней мере, настолько слабо выражалась, что была почти незаметна; ее сглаживали чувство строгой зависимости, распространявшейся на всех одинаково, труд и сложность занятий в классах, отчасти также общий гонор, царивший в мое время в училище; гонор основывался на преимуществе перед другими военно-учебными заведениями, не допускавшем в училище телесного наказания. Такое преимущество в значительной степени приподымало дух каждого, составляло его гордость.

Обращение с жалобой к дежурному офицеру за дурное обращение старших считалось равносильным фискальству, шпионству. В течение четырех лет, как я находился в училище, раз был такой случай, и тот, сколько казалось, основывался больше на догадках, чем на факте. Один из кондукторов, прежде меня поступивший в училище, сделался любимцем ротного командира Фере, которого все боялись и огулом не любили. Вопреки привычке Фере – никогда почти не говорить с воспитанниками, он стал часто звать к себе на квартиру любимца; спустя несколько времени любимцу нашили унтер-офицерские нашивки, что делалось за особенные успехи по фронтовой части и отличное поведение. Это-

го достаточно было, чтобы возбудить подозрение; стали распространять слухи, что любимец ничего больше, как фискал и доносчик. Не помню, как составилась и созрел против него заговор; я в нем не участвовал. Помню только следующую сцену. Это было ночью. Любимец, в качестве унтер-офицера, был дежурным; он проходил через большую камеру, где спало нас шестьдесят человек; зала тускло освещалась высокими жестяными подсвечниками с налитой в них водою и плавающим в ней сальным огарком. Едва показался любимец, огни мгновенно были погашены; несколько человек, ждавших этой минуты, вскочили с постелей, забросали любимца одеялами и избивали его до полусмерти. На шум и крик вбежал дежурный офицер; со всех концов посыпался на него картофель, без сомнения заранее сбереженный после ужина. «Господа, – кричал офицер, – я не под такими картофелями был, под пулями – и не боялся!..» Снаряды продолжали сыпаться. Офицер побежал к ротному командиру, который, от страха вероятно, не явился, но отправился будить начальника училища Шаренгорста. На следующее утро всю роту выстроили по камерам; пришел генерал Шаренгорст и, по обычаю, начал здороваться; ему не отвечали. Вскоре за ним приехал начальник штаба военно-учебных заведений генерал Геруа. Проходя по камерам, он начал также здороваться; никто не откликнулся. Не ожидая, вероятно, такого упорного неповиновения и приписывая его опасной стачке, он, не дойдя до последней камеры, круто повернулся на каблуке и вышел,

сопровождаемый начальством училища, которое шло повеся нос и как бы пришибленное. Результат был тот, что всю роту заперли в училище на неопределенное время. Арест разрешился только необходимостью выступить в лагерь.

Коснувшись дикого обычая истязать рябцов, не могу пропустить случая, до сих пор живо оставшегося в моей памяти. Один из кондукторов старших двух классов вступился неожиданно за избитого, бросился на обидчика и отбросил его с такою силой, что тот покатился на паркет. На заступника наскочило несколько человек, но он объявил, что первый, кто к нему подойдет, поплатится ребрами. Угроза могла быть действительна, так как он владел замечательной физической силой. Собралась толпа. Он объявил, что с этой минуты никто больше не тронет новичка, что он считает подлым, низким обычай нападать на беззащитного, что тот, кому придет такая охота, будет с ним иметь дело. Немало нужно было для этого храбрости. Храбрец этот был Радецкий, тот самый Федор Федорович Радецкий, который впоследствии был героем Шипки. На торжественном обеде, данном в его честь, в речи, которую я сказал ему, было упомянуто об этом смелом и великодушном поступке его юности.

В числе воспитанников моего времени, также отличившихся впоследствии, были: Тотлебен, К. П. Кауфман, Достоевский и Паукер.

Умягчению нравов в училище много также способствовал новый ротный командир барон Розен, сменивший Фере.

Барон Розен служил на Кавказе, был храбрый боевой офицер с Георгием в петлице. Одного этого было довольно, чтобы воспитанники отнеслись к нему сочувственно. Он заслуживал также сочувствие своим смелым, но откровенно добродушным отношением с нами. Он то и дело заходил в роту, был весел, говорил со всеми, шутил. «Господа, – повторял он часто, – мы служим вместе, должны отвечать друг за дружку; будьте исправны, будьте молодцы; вы меня не выдавайте, я вас не выдам!» Он сделался вскоре до такой степени любимым и популярным, что, стоило ему приказать что-нибудь, все беспрекословно исполнялось. Между дежурными офицерами у нас тоже были два любимца: Д. А. Скалон, ворчливый, но добрейший человек, и еще А. И. Савельев, сделавшийся впоследствии известным ученым-нумизматом.

Барон Розен сильно подтягивал училище только во фронтовом отношении. Мы, впрочем, мало этим тяготились. Сначала очень были скучны первые приготовительные приемы к маршировке, так называемая выправка. Нас ставили в ряд; унтер-офицер становился впереди и командовал: «Ра-а-з!» – мы должны были вытягивать правую ногу и носок; затем шла команда: «Два-а-а!» следовало медленно поднимать ногу и стоять в таком журавлином положении, пока не скаман্দуют: «Три!» При малейшем колебании туловища унтер-офицер кричал: «Отставь!» – и снова начиналось вытягивание ноги и носка. Но когда нам дали ружье, мы все – и я в том числе – были очень довольны и с увлечением принялись выделять

ружейные приемы. Ученье часто происходило на плацу перед Михайловским замком. Барон Розен всегда присутствовал, но предоставлял командовать офицерам, ограничиваясь короткими замечаниями. Более всех горячился добрейший Д. А. Скалон. Когда фронт становился лицом к солнцу, глаза начинали щуриться и штыки колебаться, он положительно выходил из себя, топал ногами и кричал с пеной у рта: «Смирно! Во фрунте нет солнца!.. Нет солнца во фрунте! Смирно, говорю вам!..»

Прошел год, я держал ружье, выделявал артикулы и маршировал не хуже других. После майского парада и окончания экзаменов все нетерпеливо ждали выступления в лагерь.

Переход из Петербурга в Петергоф, несмотря на ранец, лядунку, кирку и лопату (необходимые доспехи сапера), которые при каждом шаге немилосердно били по ляжке, можно было бы назвать прогулкой, если б не носили тогда на голове огромных киверов, украшенных на макушке красным помпоном; но и с кивером можно было бы примириться, если б во время этого перехода он не служил кладовой, доверху набитой апельсинами, пирожками, булками, сыром, леденцами и другим съестным снадобьем; от этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.